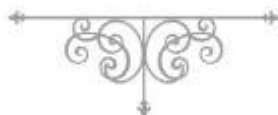


Эту книгу я начал в добром здравии, но, вследствие тяжелой болезни, последнюю точку поставил, когда тысяча булавок вонзались в подушечки моих пальцев, пока я стучал по клавиатуре. Хочу посвятить ее всем, кто борется с раком, а также тем, кто помогает нам, не дает падать духом, находится рядом, а порой вынужден терпеть наше отчаяние. Спасибо.



Часть первая



1

Барселона, май 1901 года

Сотни женских и детских голосов звенели в переулках старого центра. «Забастовка!» «Закрывайте двери!» «Останавливайте станки!» «Опускайте шторы!» Пикет составляли женщины, многие несли на руках малышей или крепко держали за руку детишек постарше, хотя те и пытались вырваться, чтобы побежать за совсем уж большими, вышедшими из-под контроля; они обходили улицы старого города, призывая рабочих и торговцев, чьи мастерские, цехи и магазины все еще были открыты, немедленно прекратить всякую деятельность. Палки и куски арматуры у них в руках убеждали большинство, хотя кое-где бились витрины и вспыхивали стычки.

— Это женщины! — крикнул какой-то старик с балкона второго этажа, прямо над головой разъяренного лавочника, который сцепился с двумя пикетчицами.

— Ансельмо, я просто...

Его оправданий никто не слушал, их заглушили оскорбления и свист других жильцов, наблюдавших с балконов ветхих, сгрудившихся домов, где обитали мастеровые и прочий неимущий люд: фасады растрескались, штукатурка облезла, всюду видны были пятна сырости. Лавочник поджал губы, замотал головой и опустил железную штору под торжествующие, насмешливые крики оборванных и грязных ребятишек. Зрители невольно заулыбались, оценив шуточки юных забастовщиков: лавочника не любили в квартале. Он тачал и продавал эспадрильи. Не верил в долг. Не улыбался. Ни с кем не здоровался.

Ребятишки продолжали потешаться над ним, пока полиция, следовавшая за пикетчицами, не подошла совсем близко. Тогда они побежали за громогласной ордой, которая хлынула в пере-

улки средневековой Барселоны, извилистые и темные, ведь даже волшебный весенний свет майского утра не в силах был проникнуть глубже самых верхних этажей в хитросплетение построек, что возвышались над брусчатой мостовой. Жильцы, высылавшие на балконы, умолкли при виде жандармов; иные сжали верхом, с саблями в ножнах, лица у большинства были хмурые, всадники двигались размеренно, отчего напряжение возрастало. Все понимали, как этим людям непросто: они должны были остановить незаконные пикеты, но не были готовы сражаться с женщинами и детьми.

История рабочего движения в Барселоне неразрывно связана с женщинами и их детьми. Они сами в большинстве случаев уговаривали своих мужчин оставаться в стороне от насильственных актов. «На нас они не посмеют напасть, а нас достаточно, чтобы остановить работу», — твердили женщины в качестве аргумента. Такую тактику применили и сейчас, в мае 1901-го, когда рабочие вышли на улицы после того, как компания по обслуживанию трамваев уволила забастовщиков и наняла вместо них штрейкбрехеров.

До всеобщей забастовки в поддержку трамвайщиков, к которой призывали рабочие союзы, было еще далеко, и, несмотря на отдельные акты насилия, жандармерия вроде бы контролировала город.

Вдруг из сотен женских глоток вырвался единый вопль: пронеслась весть, будто по Ла-Рамбла ходит трамвай. Зазвучали ругательства и угрозы: «Штрейкбрехеры!», «Сучьи дети!», «Покажем им!».

Пикетчицы пустились быстрым шагом, почти бегом, по улице Портаферрисса к цветочным рядам на Ла-Рамбла, чуть выше рынка Бокерия, который, в отличие от других барселонских рынков, таких как Сан-Антони, Борн или Консепсон, не был выстроен по конкретному проекту, торговцы попросту оккупировали площадь Сан-Жузеп, великолепное, окруженное портиками пространство; в конце концов купцы одержали верх, и площадь покрылась тентами и навесами, а портики, окружавшие площадь, — в стены нового рынка. Обычные места, где торгуют цветами, киоски чугунного литья, расположенные вдоль бульвара друг против друга, были закрыты, но цветочницы, в вызывающих позах, уперев руки в бока, стояли рядом, готовые защищать их. В Барселоне только в этой части Ла-Рамбла прода-

вали цветы. У рынка Бокерия застряла нескончаемая череда крытых подвод: лошади и экипажи терлись друг о друга в паре шагов от трамвайных путей. Истошные крики проходящей мимо толпы женщин растревожили животных. Но мало кто из пикетчиц обращал внимание на взбесившихся, встающих на дыбы коней и на мечущихся очертя голову конюхов и продавцов. Трамвай, следующий к бульвару Грасия от Рамбла-де-Санта-Моника, приближался.

Далмау Сала в толпе других мужчин молча двигался за пикетом по улицам старого города, вслед за жандармами. Теперь, на более широком бульваре Ла-Рамбла, ему открылась полная картина. Абсолютный хаос. Лошади, экипажи и торговцы. Сбежалась толпа ротозеев; полицейские встали в строй перед женщинами с детьми, а те образовали живую цепь, отсекая тех, которые сгрудились на рельсах, норовя остановить машину. Увидев, как женщины поднимают малышей перед жандармами, Далмау содрогнулся. Дети постарше цеплялись за юбки матерей, тарача испуганные глазенки, пытаясь постигнуть непостижимое, а подростки, заразившись общим энтузиазмом, дразнили полицейских.

Не так давно, года четыре или пять тому назад, Далмау точно так же задирали полицию, а его мать позади криками требовала справедливости или улучшения социальных условий и воодушевляла его на борьбу. Так поступало большинство матерей: ставили детей на защиту дела, за которое они сами готовы были отдать жизнь.

На какой-то миг крики женщин опьянили Далмау, вселили в него прежнее воодушевление, когда и он противостоял полицейским. Подростки тогда себя чувствовали богами. Боролись за рабочее дело! Бывало, что жандармы или солдаты набрасывались на них, но сегодня такого не случится, сказал себе Далмау, переводя взгляд на забастовщиц, преграждавших путь трамваю. Нет. Этот день не назначен для того, чтобы силы правопорядка атаковали женщин; он это предчувствовал, это знал.

Далмау быстро нашел их в толпе. В первом ряду, впереди всех, с пылающими глазами, будто одним только взглядом собираясь остановить трамвай до Грасии, который уже приближался. Далмау разулыбался. Что неподвластно таким взглядам? Монсеррат и Эмма, его младшая сестра и его невеста, подруги, неразлучные в бедах, неразлучные в борьбе за рабочих. Трамвай

приближался, звонок дребезжал, лучи солнца, проникая сквозь листву деревьев на Ла-Рамбла, высекали искры из колес и других металлических частей вагона. Кое-кто из женщин отступил, но таких оказалось немного. Далмау выпрямился. Он не боялся: трамвай остановится. Матери и полицейские умолкли, затаив дыхание. Зеваки тоже замерли. Группа женщин на рельсах как будто увеличилась, сплотилась, вросла в почву: будь что будет.

Трамвай остановился.

Женщины разразились торжествующими криками, а немногие пассажиры, которые осмелились воспользоваться транспортом и ехали на втором ярусе, под открытым небом, спотыкаясь, спускались вниз и удирали следом за водителем и кондукторами — те попрыгали с трамвая еще до того, как он остановился.

Далмау глядел на Эмму и Монсеррат: обе поднимали к небу сжатые кулаки, улыбались, вместе со всеми празднуя победу. Не прошло и минуты, как сотни женщин набросились на трамвай. «Сюда!» «Поддадим!» Жандармерия хотела вмешаться, но живая цепь женщин с детьми вышла навстречу. Множество рук оперлось о стенку вагона. Кто не мог подойти к трамваю, налегал на спины впереди стоящих.

— Толкайте! — раздавались крики.

— Сильнее!

Трамвай закачался на железных колесах.

— Еще! Еще, еще...

Раз, два... Вагон раскачивался все сильнее, женщины криками подбадривали друг друга. Наконец вопль, вырвавшийся из сотен глоток, возвестил падение трамвая. Вместе с грохотом полетели щетки, зазвенело железо, поднялась туча пыли, окутав трамвай и женщин.

Относительную тишину, наступившую после того, как трамвай рухнул на землю, прервали истошные крики:

— Ура революции!

— Да здравствует анархия!

— Все на забастовку!

— Смерть монахам!

Покончить с безработицей, увеличить зарплату. Сократить непомерный рабочий день. Запретить детский труд. Покончить с властью Церкви. Обеспечить безопасность. Предоставить приличное жилье. Здравоохранение. Светское образование. Про-

дукты по доступным ценам... Тысячи требований гремели над цветочными рядами на Ла-Рамбла, там собиралась и ширилась толпа неимущих, люди стекались со всех сторон и яростно рукоплескали женщинам из рабочих.

Эмма и Монсеррат, вспотевшие, запачканные, с лицами, потемневшими от пыли, поднявшейся после падения вагона, прыгали от восторга, подбадривали подруг, махали руками, взобравшись на стенку трамвая.

У Далмау волосы встали дыбом при виде этих юных дев. Какая отвага! Какое бесстрашие! Он вспомнил, сколько раз вместе с матерями и женами рабочих бросались они на защиту правого дела. Далмау был старше на два года, но эти девчонки, как будто женская природа их к тому обязывала, смелостью превосходили его, кричали, ругались, чуть ли не задирали жандармов. А теперь стояли на самом верху, на торце трамвая, который опрокинули собственными руками. Далмау вздрогнул, поднял руку, сжатую в кулак, и в восторге присоединился к крикам и требованиям толпы.

Крики все еще звучали в ушах Далмау, волнение не покидало его, когда он поднимался по Пасео-де-Грасия к керамической фабрике, где работал в районе Лес-Кортс, на пустыре неподалеку от русла Баргальо. Ему не удалось поговорить с девушками: добившись цели и видя, что жандармы теряют терпение, женщины с детьми, составлявшие пикет, рассеялись в разные стороны. Монсеррат и Эмму наверняка заприметили, подумал Далмау. «Еще бы!» — сказал он себе и улыбнулся, топчя упавший с дерева лист. Как не запомнить их, стоящих наверху? Конечно, они быстро смешались с другими женщинами на рынке Бокерия или на Ла-Рамбла, такими же, как они, одетыми одинаково: юбка до щиколоток, передник и блузка с засученными рукавами. Те, что постарше, повязывали на голову платок, чаще всего черный; молодые подкалывали волосы в пучок и не носили шляпок. Эти женщины коренным образом отличались от тех, что прогуливались по Пасео-де-Грасия: богатых, элегантных.

Ежедневно, проходя из конца в конец одну из главных магистралей древней столицы Барселонского графства, Далмау отводил душу, разглядывая дам, которые прогуливались с гордым видом в сопровождении нянек в белом, детишек и конных экипажей. Грудь, живот и ягодицы; говорили, будто по этим трем

параметрам следует судить о том, насколько женщина близка к идеалу. Женская мода в эпоху модерна эволюционировала вместе с архитектурой и другими искусствами, и суровые средневековые линии, бывшие в ходу в последнее десятилетие прошлого века, вышли из употребления, теперь целью было показать живых женщин: корсет подчеркивал естественные формы тела, его сказочные изгибы — выступающая грудь, плоский, стянутый живот, заодно и воинственно торчащие ягодицы. Когда было время, Далмау задерживался на бульваре, садился на скамейку и делал наброски углем, запечатлевая этих женщин; правда, одежда не занимала воображение художника, и он рисовал их нагими. Зачем ограничиваться тем, на что лишь намекают корсеты и платья? Ноги, бедра, щиколотки, главное — щиколотки, тонкие, точеные, с натянутыми струнами сухожилий; руки и плечи. Еще шея! К чему руководствоваться только тремя критериями: грудь, живот и ягодицы? Он любил женскую наготу, но, к сожалению, не имел возможности работать с раздетыми натурщицами: его учитель, дон Мануэль Бельо, это запрещал. Мужская нагота — пожалуйста, женская — нет. Раз он сам не пишет нагих натурщиц, значит и Далмау не должен. Это можно понять, зная супругу дон Мануэля, ухмылялся про себя Далмау. Буржуазка, реакционерка консервативных взглядов, католичка ярая — до мозга костей! Разделяя все эти добродетели со своим супругом, дама цеплялась за моду, устаревшую несколько лет назад, и до сих пор носила кринолин, нечто вроде каркаса, крепящегося на талии, с объемистой накладкой сзади.

— Ни дать ни взять улитка, — насмеялся Далмау, описывая туалет дамы Монсеррат и Эмме, — юбка широченная, на зад что-то вроде панциря, который она всюду за собой таскает. Странно ли, что я не в силах вообразить ее голой?

Девушки рассмеялись.

— Ты никогда не снимал панцирь с улитки? — спросила сестра. — Добавь слизнячку шиньон вместо рожек, и вот она, твоя буржуазка, голенькая, вся в слюнях, как все они.

— Замолчи! Какая гадость! — вскричала Эмма, толкая Монсеррат. — Но зачем тебе понадобилось воображать голых женщин? — спросила она Далмау. — Тебе недостаточно тех, которые дома перед тобой?

Последнюю фразу она произнесла вкрадчиво, нежно, растягивая слова. Далмау привлек ее к себе, поцеловал в губы.

— Достаточно, еще как, — шепнул ей на ухо.

В самом деле, если не считать эротических снимков, по которым он изучал женскую наготу, запрещенную учителем, одна только Эмма позировала для него нагой. Монсеррат, узнав об этом, тоже захотела быть моделью.

— Как я буду рисовать голой собственную сестру? — возмутился Далмау.

— Ведь это искусство, разве нет? — настаивала та, начиная уже снимать блузку, чего Далмау не позволил, схватив ее за руку. — Я в восторге от рисунков, которые ты сделал с Эммы! Она там такая... чувственная! Такая женственная! Просто богиня! Никто и не скажет, что она кухарка. Я тоже хочу выглядеть так, а не как обычная работница ситценабивной фабрики.

Видя, что сестра дергает свою цветастую юбку, будто собирается ее скинуть, Далмау на несколько мгновений закрыл глаза.

— Мне бы тоже понравилось, если бы ты меня так нарисовал, — не отставала Монсеррат.

— А маме понравилось бы? — перебил ее Далмау.

Монсеррат скорчила гримасу и отрешенно покачала головой.

— Мне не нужно рисовать тебя голой, тебе и так известно, что ты такая же красавица, как Эмма, — попытался ее утешить Далмау. — В тебя все влюблены! Сходят с ума, падают в ноги.

В тот день, когда на Ла-Рамбла опрокинули трамвай, Далмау и без того опаздывал на работу, ему было не до воображаемой наготы буржуазок, выставлявших себя на Пасео-де-Грасия. Недосуг было и разглядывать здания в стиле модерн, которые строились в Барселоне на Эшампле, или Энсанче, за городскими стенами, там, где веками строительство было запрещено из соображений обороны; только в XIX веке, когда стены снесли, эта зона вошла в план городской застройки. Учитель Белью не принимал этих зданий в стиле модерн, хотя его фабрика процветала, поставляя керамику на стройки.

— Сынок, — оправдывался он, когда Далмау однажды рискнул намекнуть на такое противоречие, — дело есть дело.

Воистину, модерн, не ограничиваясь женскими нарядами, начиная со Всемирной выставки 1888 года во все привнес важные изменения, и такой крен трудно было принять людям консервативного склада. В последнее десятилетие XIX века женщины, хоть и освободившись от турнюров, которые делали их

похожими на улиток, все же носили строгие платья средневекового покроя. В то же самое десятилетие и архитекторы вдохновлялись Средневековьем, пытаясь возродить тогдашнее величие Каталонии. Доменек-и-Монтанер возвращался к использованию местных материалов, таких как старые кирпичи, и таким образом построил кафе-ресторан для той же самой выставки 1888 года, величественный, по-восточному пышный замок с зубцами, причем позволил себе поместить вдоль фриза около пятидесяти керамических щитов из сотни с лишним задуманных; изображения на белых щитах рекламировали продукты, которые подавались в заведении: моряк пьет джин, барышня ест мороженое, кухарка готовит какао...¹

Через несколько лет Пуч-и-Кадафалк взялся за перестройку дома Амалье² на Пасео-де-Грасия в готическом духе, отказавшись от классицистической симметрии и подарив Барселоне первый яркий фасад. Как и Доменек в кафе-ресторане на Всемирной выставке, Пуч стал играть с декоративными элементами и, сообразуясь с увлечением хозяина дома, включил в проект целую толпу гротескных зверей: собаку, кота, лисицу, козу, птичку и ящерицу в виде стражей; лягушку, выдувающую стекло; еще одну, поднимающую бокал; пару свиной, лепящих кувшин; осла, читающего книгу, в то время как другой осел наблюдает за ним через очки; льва-фотографа рядом с медведем под зонтиком; двух кроликов, льющих металл, и обезьяну, стучащую по накопальне.

Эти два здания, среди многих других, где уже намечались перемены, прослеживалось иное понятие об архитектуре, предвозвестили, по словам учителя Далмау, дом Кальвет на улице Касп в Барселоне: здесь Гауди начал отходить от историзма, питавшего его творчество в последние десятилетия прошлого века, и замыслил архитектуру, которая привела бы материю в движение. «Камень — в движение!» — восклицал дон Мануэль Бельо, недоуменно поднимая брови.

— Женщины и здания, — разоткровенничался он однажды перед Далмау, — теряют мало-помалу класс, манеры, величие;

¹ Замок трех драконов (*Castell dels Tres Dragons*) — сегодня в нем расположен Зоологический музей Каталонии. — *Здесь и далее примеч. перев.*

² Дом Амалье (*Casa Amatller*) называется по имени владельца, кондитера Антонио Амалье, который и заказал реконструкцию дома архитектору Пуч-и-Кадафалку.

порывают со своей историей и простигуируются: женщины извиваются, как змеи, а здания превращаются в миражи.

Тут он отвернулся, взмахнув руками в отчаянии, словно вселенная распадалась у него на глазах. Далмау не стал говорить, что его привлекают женщины, подобные змеям, и он восхищается архитекторами, которые стремятся к тому, чтобы чугун, камень и даже керамика пришли в движение. Ведь только колдун, волшебник, выдающийся творец способен представить глазам материю, превращенную в поток!

Длинная, нагруженная глиной повозка, которую тащила четверка могучих першеронов с величавыми головами, мускулистыми шеями и крупами, толстыми, поросшими длинной шерстью бабками, неспешно, с тяжелым скрипом проехала мимо, сотрясая землю, и это вывело Далмау из задумчивости. Он поднял взгляд; задок доверху наполненной повозки стоял перед глазами, а над ним вырисовывались две высокие фабричные трубы. «Мануэль Бельо Гарсия. Фабрика изразцов». Надпись из тех же изразцов, синих на белом, венчала ворота; дальше началась обширная промышленная зона, с водоемами и сушильнями, складами, конторами и печами для обжига. Фабрика была средних размеров, она выпускала серийную продукцию, но работала и по особым заказам, производя изразцы по эскизам или замыслам архитекторов либо техников-строителей для жилых домов, а также для многочисленных коммерческих учреждений, лавок, аптек, гостиниц, ресторанов и прочих: керамика, элемент по преимуществу декоративный, требовалась часто.

В том и заключалась работа Далмау: рисовать. Создавать собственные композиции, которые потом пойдут в серийное производство и будут включены в каталог фирмы; воплощать задумки, довершать наброски прорабов, строящих частные дома или учреждения, или же копировать образцы, которые великие зодчие стиля модерн приносили им уже доведенными до совершенства.

— Простите, дон Мануэль... — Далмау явился в кабинет учителя, одновременно служивший мастерской и располагавшийся на втором этаже одного из фабричных зданий. — В старом квартале настоящий хаос. Манифестации, полицейские патрули. — Тут он несколько преувеличил. — Мне пришлось задержаться из-за матери и сестры.

— Мы должны заботиться о наших женщинах, сынок. — Дон Мануэль, в строгом черном костюме, сугубо приличном, при галстукке темно-зеленого цвета, завязанном огромным узлом, кивнул ему из-за стола красного дерева, за которым сидел. Бакенбарды, широкие и густые, соединялись с усами, столь же пышными, образуя безупречно выверенную линию растительности над тщательно выбритым подбородком. — Они нуждаются в нас. Ты поступаешь правильно. Анархисты и либералы погубят страну! Надеюсь, жандармерия с ними разобралась. Жесткая рука! Вот чего заслуживает такая неблагодарность! Не беспокойся, сынок. Иди работай.

Рабочий стол Далмау стоял в соседней комнате, дверь в дверь с кабинетом учителя. Он тоже не делил помещение с другими служащими, а располагал собственным пространством, достаточно обширным, где мог сосредоточиться на работе, которая ныне заключалась в зарисовках к серии изразцов на восточные мотивы: цветы лотоса, кувшинки, хризантемы, стебли бамбука, бабочки, стрекозы...

Чтобы научиться рисовать цветы, он прошел несколько курсов в барселонской Льютхе¹. Цветы с натуры, цветы силуэтом, цветы затененные; эскизы и, наконец, натюрморты маслом. В списке предметов, изучаемых в Льютхе, куда Далмау поступил в возрасте десяти лет, значились арифметика, геометрия, рисунок геометрический, черчение, орнамент, рисунок с натуры, живопись, но самым важным был рисунок для прикладных искусств и фабричного производства. Для этого и была создана Льютха: чтобы обучить прикладным искусствам рабочих, которые могли бы применить в производстве полученные навыки.

Хотя с середины XIX века чистое искусство получило преимущество над прикладным, последнее, предназначенное для нужд промышленности, не было заброшено, что, без сомнения, касалось и рисования цветов. Растительные элементы составляли основу орнамента в готическом искусстве, и теперь, после нового обращения к Средневековью, в индустрии, которая двигала Каталонию, использовались для рисунков на ткани и одежде; а с приходом в архитектуру модерна попали на изразцы и ступеньки, мозаики, в чугунное литье, маркетри и витражи, а также на гипсовую лепнину, обильно украшавшую здания.

¹ Школа живописи, архитектуры и прикладных искусств в Барселоне.

Далмау накинул халат на бежевую блузу, доходящую до колен; эта блуза, штаны из смеси шерсти и льна неопределенно-темного цвета, шапочка и черные ботинки составляли его обычный костюм. Как только он уселся перед кучей набросков, громоздящихся на столе, и отточил карандаши, исчезли голоса, смех, крики — шум фабрики в разгар рабочего дня, временами оглушительный. Отрешившись от всего, Далмау полностью сосредоточился на японских рисунках, стараясь перенять восточную технику, которая в обход реализма искала стилизованной красоты, без тени; далекая от западных образцов, она ценилась на рынке, жадно поглощавшем все непохожее, экзотическое, современное.

Как он отрешился от всякого шума, так и тишина, воцарившаяся на фабрике, опустевшей, когда ночь упала на Барселону, застала его погруженным в работу. Он съел почти без аппетита, чуть ли не с досадой, обед, который ему принесли, а позже что-то бормотал в ответ сотрудникам, которые заглядывали к нему в мастерскую, чтобы попрощаться. Для дон Мануэля, уходившего в числе последних, не было сделано исключения; прицелкнув языком, то ли с удовлетворением, то ли с укором, он повернулся спиной к Далмау, который и не расслышал его слов, и не поднял глаз от рисунков.

Через пару часов газовые лампы, освещавшие мастерскую, начали меркнуть и оставили его почти в тьме.

— Кто погасил свет? — возмутился Далмау. — Кто здесь?

— Это я, Пако, — отозвался ночной сторож и отвернул газовый кран, чтобы в мастерской стало светлее.

При свете показался сгорбленный, дряхлый старик. Человек чудесный, но быть ему здесь не следовало. Учитель запретил доступ в мастерские, где находились эскизы и проекты, незаконченные работы: эти материалы могли видеть только сотрудники, пользующиеся неограниченным доверием.

— Что ты тут делаешь? — удивился Далмау.

— Дон Мануэль велел, если ты слишком задержишься, выставить тебя вон. — Старик улыбнулся беззубым ртом, обнажив голые десны. — В городе сложная обстановка, народ в сильном волнении, — объяснил он, — и твоя мать, наверное, беспокоится.

Возможно, Пако прав. Так или иначе, стоило Далмау отвлечься, как желудок запротестовал, требуя пищи, да и глаза устали: похоже, пора кончать работу.

— Гаси свет, — распорядился Далмау, снимая халат и бросая его на вешалку, стоявшую в углу, там он и повис кое-как, на одном рукаве. — Что происходит в городе? — поинтересовался юноша, прибираясь на столе.

— Обстановка обострилась. Пикетчики, в основном женщины и подростки, прошли по старому городу, забрасывая камнями фабрики и мастерские, пока те не прекратили работу. Вроде бы утром они опрокинули трамвай, и это им придало отваги. — (Далмау резко выдохнул.) — Что-то подобное устроили и на больших фабриках в районе Сан-Марти. Напали на полицейские участки. Ребята воспользовались суматохой и подожгли несколько пунктов по сбору пошлин, предварительно пошарив внутри. В общем, все вверх дном.

Они спустились по лестнице на склады первого этажа. Там, перед тем как выйти на окружавшую постройки обширную зону, где готовили глину, Далмау попрощался с двумя мальчишками, не старше десяти лет, которые жили и почевали на фабрике, подстелив одеяло на пол, — зимой подле печей для обжига, от которых удалялись по мере того, как на дворе теплело. Их даже не приняли в ученики, просто давали разные поручения — сделать уборку, сбежать куда-нибудь, принести воды... У обоих, по их словам, были родители: рабочие из квартала Сан-Марти, прозванного каталонским Манчестером, и жили они в битком набитых квартирах, которые делили с другими семьями. Квартал Сан-Марти располагался далеко, и учитель ничего не имел против того, чтобы дети жили на фабрике и зарабатывали по несколько сентимо, только взамен требовал, чтобы по воскресеньям они ходили к мессе в приход Санта-Мария-деи-Ремен в квартале Лес-Кортс. Родителей, похоже, не заботило, что мальчишки живут на фабрике, никто ни разу не пришел поинтересоваться, как они тут. Есть такие, кому гораздо хуже, думал Далмау, по пути к двери мимоходом взъерошив грязные волосы одного из ребят: целая армия *trinxeraires*¹, как их называли, по скромным подсчетам, больше десяти тысяч, прозябали на улицах Барселоны, прося милостыню, воруя и ночуя под открытым небом, в любой щели, где могли устроиться; то были сироты или просто брошенные дети, как эти двое мальчишек на

¹ Беспризорники (каталан.).

побегушках, чьи родители были не в состоянии обихаживать их и кормить.

— Доброй ночи, маэстро, — попрощался с Далмау один из них. Ни малейшей насмешки нельзя было обнаружить в его тоне, он говорил совершенно искренне.

Далмау обернулся, поджал губы, порылся в карманах штанов и бросил им монетки по два сентимо.

— Щедрая душа! — На этот раз насмешка прозвучала.

— Не нашел по одному сентимо? — спросил другой мальчишка. — Знаешь, таких... совсем маленьких.

— Неблагодарные! — рявкнул сторож.

— Оставь их, — попросил Далмау с улыбкой. — Осторожней с деньгами, — включился он в шутку, — смотрите, как бы вы не объелись.

— Гляди-ка! — подпрыгнул один из них. — Маэстро хочет поужинать с нами.

— Нет, спасибо, как-нибудь в другой раз. Сегодня приглашите девушек, — со смехом присоветовал Далмау, направляясь к выходу.

— Целый бараний бок оприходуем на эти четыре сентимо! — услышал Далмау у себя за спиной.

— Попьем доброго винца из Алельи!

— Вот наглецы, — продолжал ворчать сторож.

— Вовсе нет, Пако, — возразил Далмау. — Что остается брошенным детям, как не смотреть на жизнь с насмешкой?

Сторож умолк, а Далмау миновал ворота с надписью, возмущавшей о том, что здесь находится фабрика изразцов дона Мануэля Бельо, и начал потихоньку привыкать к яркому свету луны, озарявшей пустыри и улицы, до которых не добралось еще городское освещение. Вобрал в себя ночную свежесть. Тишина казалась напряженной, будто крики забастовщиков, целый день ходивших по городу, все еще витали в воздухе. Далмау разглядывал панораму, раскинувшуюся вплоть до самого моря. Силуэты сотен высоких труб вырисовывались в лунном свете. Барселона была индустриальным городом, где теснились фабрики, склады и мастерские разного рода. С XIX века здесь использовали энергию пара для работ, которые в других местах выполнялись вручную, и это, а также влияние соседних стран, в частности Франции, вкупе с врожденным у каталонцев духом предпри-

нимательства, поставило их столицу вровень с самыми передовыми городами Европы. Главной была текстильная промышленность; половина рабочих Барселоны были текстильщиками. Не менее важное место занимали также металлургическая, химическая и пищевая индустрии. А еще деревообрабатывающая, кожевенная и обувная, производство бумаги и печатное дело — десятки фабрик в городе, где население достигло полумиллиона человек. Но если богатые промышленники и буржуа пожинали плоды индустриального подъема и пользовались ситуацией, к простому народу, к трудящимся реальность поворачивалась совсем другой стороной. Работа по семь дней в неделю, по десять-двенадцать часов, за мизерную плату. Она, эта заработная плата, за последние тридцать лет увеличилась на тридцать процентов, в то время как цены на продукты поднялись на семьдесят. Неуклонно росла безработица; городские приюты бывали ночами переполнены, и на благотворительных кухнях каждый день раздавали тысячи порций еды. Барселона, думал Далмау, качая головой, бесчеловечно жестока к тем, кто создает ей величие ценой жизни и здоровья — своих собственных, семьи и детей.

Монсеррат дома не было. Эммы тоже. Наверняка празднуют успех выступления, подумал Далмау; устроили собрание, обсуждают, что им предпринять на следующий день, улыбаются, поздравляют друг друга. Далмау заколебался — не пойти ли в столовую возле рынка Сан-Антони, но решил, что, даже если весь персонал не бастует, Эмма наверняка не вышла на работу.

Далмау жил с матерью на третьем этаже старого дома по улице Бертрельянс; этот узкий проулок в историческом центре Барселоны соединял улицу Кануда с улицей Святой Анны, куда выходила одноименная церковь, которую в тот момент перестраивали. Жилище семьи Сала было похоже на все те, что теснились в старом квартале, в Сантс, Грасия, Сан-Марти... Пятишестиэтажные дома, сырые и мрачные, с узкими лестницами, ведущими на верхние этажи; ни канализации, ни газа, ни электричества; вода подавалась из бака, расположенного на кровле, общего для всех жильцов. На каждую площадку, где находилось общее отхожее место, выходили двери квартир, совершенно одинаковых: темный коридор вел в кухню-столовую, воздух в ко-

торую нередко поступал из двора-колодца, дальше следовала компата без окон и, наконец, последняя, с окном на улицу.

В этой, наиболее светлой, Далмау нашел свою мать; она, как всегда, шила, сейчас — при свете жалкой свечи, которая лишь сгущала темноту, вместо того чтобы давать хоть немного света швее, жмущей неустанно, безостановочно на педаль швейной машинки, приобретенной в магазине сеньора Эскудера на улице Авиньон. Мать, должно быть, работала целый день, возможно, больше тринадцати часов.

— Как вы, мама? — спросил Далмау, целуя ее в лоб.

— Как видишь, сынок, — ответила та.

Далмау помедлил, потом подошел сзади и положил ей руки на плечи. Ощутил дрожь от швейной машинки: руки и плечи матери вибрировали в ритме шитья. Не отводя глаз от работы, мать сжала губы в подобии улыбки, но ничего не сказала, просто продолжала работать, нажимая на педаль и прострачивая ткань. В тот день она шила белые накладные воротнички и манжеты к мужским сорочкам; такую работу ей предложил комиссионер из универмага, где эти изделия будут продаваться. Накладные воротнички и манжеты оплачивались хуже всего: после нескончаемого рабочего дня швея получала около песеты. Буханка хлеба стоила пятьдесят сентимо. Комиссионер обещал ей партию брюк, даже перчаток, но в тот день у него были только воротнички и манжеты для белых рубашек богачей. Хосефа — так звали мать Далмау — не особо надеялась, что мужик сдержит слово. Возможно, если бы она позволяла себя тискать и щупать, дело бы пошло на лад. «Нет, — одергивала она себя, — ни за что». Некоторые вставали перед ним на колени и теребили ему член или наклонялись, задрвав юбку и передник выше пояса, позволяя делать с собой что угодно. И были они моложе Хосефы и куда красивее! Она их всех знала, иногда даже слышала, как они спорят шепотом, позабыв всякий стыд, на кого нынче падет жребий. Пасть он мог только на одну: мужик был не ахти в плане секса, проливался мгновенно и насыщался еще быстрее. Хосефа их не судила. Не злилась на них. Им нужно было кормить детей.

Женщина вздохнула. Далмау это заметил и бережно обнял за плечи. Хосефа могла рассчитывать на помощь сына. Большинство швей, да и не швей тоже, глядели на нее с завистью и часто шушукались за ее спиной. Хосефа это замечала, и это ей

не нравилось: чем она отличается от других — бедная вдова рабочего-анархиста, несправедливо осужденного, подвергнутого пыткам, от последствий которых он и умер в изгнании, как ей сообщили; у нее самой с каждым днем слабело зрение, да и бронхит, от которого страдали швеи, часами сидевшие неподвижно за машинками, полуголодные, измотанные, дышащие смрадом, поднимавшимся из подвалов, донимал ее; сырость пронизывала до костей — и все ради того, чтобы снабдить богачей белыми манжетами и воротничками. Зато Далмау завоевал престиж и получал хорошее жалованье, работая на «того, с изразцами, который сыт святой водой», как о нем говорили все женщины в доме, включая Эмму. «Оставьте работу, мама», — вечно твердил он. Но Хосефа не хотела жить за счет сына. Далмау женится, пойдут расходы. Он помогал, да, и немало, так что ей не нужно было потакать похоти комиссионера, распределявшего заказы. Помогал и сестре, даже старшему брату Томасу, анархисту, как их покойный отец, такому же идеалисту, либертарию, утописту; а по сути, Томас — такое же пушечное мясо, как и его родитель.

— А девочка где? — спросил Далмау с нежностью, имея в виду Монсеррат; еще раз стиснул плечи матери и уселся рядом со швейной машинкой на постели, общей для Хосефы и ее дочери.

— Поди знай! Думаю, планируют на завтра манифестации. Заходила, рассказала, как они опрокинули трамвай. — (Тут Далмау кивнул.) — В мои времена трамвай везла упряжка лошадей. Попробуй опрокинь такой, — развеселилась она.

— А Эмму видели?

— Да, — выпалила мать с таким напором, что Далмау удивился. Она, заметив, сбавила тон. — Заходила с твоей сестрой. Принесла еду в горшочке. Твое любимое блюдо, — подмигнула она. — Потом пошли бороться дальше.

*Bacallá a la llauna*¹. В самом деле, это блюдо было из тех, что больше всего нравились Далмау, и Эмма умела его готовить: треска вымоченная, но не слишком, так, чтобы чувствовался привкус моря, обвалынная в муке и поджаренная. Потом ее кладут в *llauna*, противень с высокими бортиками, где уже обжариваются до золотой корочки дольки чеснока, потом добавляют красный перец и вино, чтобы блюдо не подгорело и не стало гор-

¹ Запеченная треска, каталонское блюдо.

чить. Все это запекается вместе несколько минут... Хосефа подогрела еду на углях очага, встроенного в стену, и отнесла на кухню, добавив хлеб и бутылку красного вина.

Даже когда они отдали должное треске и на улицах зазвучали голоса людей, покинувших свои убогие жилища, чтобы поболтать на свежем воздухе, прогуляться, выкурить сигаретку или выпить с другом винца, Далмау так и не смог оторвать маму от машинки.

— Осталось еще много работы, — сказала она виновато.

«Когда же она кончается?» — чуть было не ответил он, но не хотелось заново вступать в тот же самый нескончаемый спор. «Вам это ни к чему». «Я дам денег». «Вы ни в чем не будете нуждаться...»

— Мы даже могли бы сменить квартиру, — однажды предложил он.

— Я жила здесь с твоим отцом и здесь умру, — отрезала мать неслышанно суровым тоном. — Может быть, для тебя, для твоих брата и сестры наш дом... трущоба, — добавила она хрипло, — но эти стены слышали смех и плач твоего отца, да и ваши, конечно, тоже. Далмау, никакая сырость, никакой запах, никакая темнота не сотрут из моей памяти счастье, которое я испытала здесь с ним, с тобой, с твоими братом и сестрой. Как мы старались поставить на ноги вас троих, тех из пятерых моих деток, кому посчастливилось выжить; как боролись за рабочих, за обездоленных, за справедливость. Сколько несчастий, сколько огорчений, множество, великое множество. Все это ковалось здесь, сынок, в этом склепе. Стук педалей и стрекот швейной машинки, которые порой так тебя раздражают... — Мать замахала руками. — Не скажу, что это музыка, но звуки эти сроднились со мной, они меня переносят в те счастливые дни, когда вы были детьми и отец ваш был с нами. Шитье у меня уже выходит само собой! — Она то ли рассмеялась гортанно, то ли закашлялась. — Руки знают, что делают, лучше, чем глаза, устающие после тяжелого дня. — Она вздохнула. — И пока руки работают, стрекот швейной машинки мне напоминает о прошлом, о твоём отце...

Далмау не заметил, в какой момент слова застряли у матери в горле и слезы потекли по щекам. Этим вечером он наконец увидел, какая она хрупкая, незащищенная: встав рядом с матерью, он прижал ее голову к своей груди и баюкал, как малень-

кую девочку. Позже, оставшись один в своей спальне, комнатушке без окон, он со всем пылом чувства попытался при свете свечи изобразить лицо матери. Один за другим комкал и рвал наброски. Не такая она старая, чтобы жить одними воспоминаниями! Но как ни налегал он на уголь, добавляя улыбку, оживляя взгляд, впечатление оставалось прежним: женщина, исполненная печали.

Наутро Далмау нашел на кухонном столе остатки трески, которые мать приберегла ему на завтрак. Еще не рассвело, но на улицах ночная тишина уже давала трещину. Далмау ополоснулся в тазу и, прежде чем полакомиться треской, приоткрыл дверь в другую спальню, где сестра и мать еще спали среди спутанных простыней.

На улице было свежо. Небо светлело над верхними этажами, оттуда просачивались солнечные лучи, как будто там, наверху, существовал чистый, здоровый мир, чуждый крикам, полумгле, сырости, грязи и вони, которые терзали обитателей древнего центра Барселоны. Не то чтобы люди проклинали свой квартал; наоборот, большинство, как и его мать, любили место, где родились, играли в детстве или работали в зрелые годы. Нет, жители ни при чем. Врачи, посланные городской управой, утверждали в отчетах, что почва в Барселоне насквозь гнилая. Власти уверяли, что глинистая почва удерживает влагу, отсюда постоянная сырость; что в эти слои просачиваются и там застаиваются сточные воды, органические продукты в стадии разложения и фекальные массы; что канализация в удручающем состоянии, с пробоями и протечками на всем протяжении; что уборка улиц и вывоз мусора — чистая фикция; что отсутствуют запасы воды, а та, которую барселонцы берут из колодцев, — грязная и полна микробов. Тиф и другие инфекционные болезни стали уже эндемичными, смертность из-за них держалась на высоком уровне.

«А мама не хочет уезжать отсюда!» — посетовал Далмау, выходя на площадь Каталонии, сразу за церковь Святой Анны. То был огромный, заброшенный пустырь, где с самой Всемирной выставки 1888 года собирались обустроить площадь; ее, несуществующую, все уже называли площадью Каталонии. Обходя топкие лужи и кучи мусора, копившиеся тут, Далмау вы-